

В год двадцатилетия кровавых событий 1993 года в России редакция “Нашего современника” публикует воспоминания Тимура Исхаковича Пулатова о поощряемом ельцинским режимом противостоянии в писательской среде, что и по сей день отравляет литературную и духовную атмосферу общества. Тимур Пулатов в 1991 году был избран Первым секретарём Правления Союза писателей СССР. После реорганизации СП СССР в Международное сообщество писательских союзов (МСПС) в 1992 году, автор воспоминаний возглавил это крупнейшее писательское объединение на территории России и стран СНГ и работал в этой должности вплоть до 2000 года.

ТИМУР ПУЛАТОВ

МЛАДОБУХАРЕЦ ПРОТИВ МЛАДОТРОЦКИСТОВ

“Запомните эти дни!..”

Из заявления не сдавшихся защитников Дома Советов России. Октябрь 1993 года.

1. 91-й. От “Апреля” до августа

Перед самым распадом страны, по воле переменчивой фортуны, работая в Союзе писателей, мне довелось видеть и слышать своих коллег в период острой вовлечённости в борьбу с собратьями и с властью.

В моих дневниковых записях начала 90-х годов много беглых заметок о том, как вчерашние друзья, в том числе фронтовики, предают друг друга, затем сходятся по национальным и корпоративным интересам, затем снова разбегаются по разные стороны баррикад...

Просматриваю список доверенных “главного претендента” на президентскую должность на выборах 4 марта 2012 года. Среди них – и те, кто, если не списочно, то душевно были доверенными лицами Горбачёва и Ельцина: Олег Табаков, Михаил Боярский, Леонид Якубович, Геннадий Хазанов, потешавший ещё Леонида Ильича Брежнева байкой о кулинарном училище... Павел

ПУЛАТОВ Тимур Исхакович родился в 1939 году в Бухаре. Народный писатель Узбекистана. Народный писатель Таджикистана. Лауреат Государственной премии. Автор романов, повестей, рассказов, переведённых на европейские и восточные языки. Пишет на русском языке. Живёт в Москве.

Гусев – редактор “МК” с перестроечных времён, модельер Валентин Юдашкин, литераторы Юрий Поляков, Марина Юденич, Эдуард Багиров, дрессировщики хищных зверей братья Запашные. . .

Некоторым из них уже далеко за семьдесят или около того. Многие – вспомним Анатолия Приставкина, Григория Бакланова, Евгения Евтушенко, Юрия Черниченко, Валентина Оскоцкого, Булата Окуджаву, Михаила Шатрова, Андрея Дементьева, Юрия Карякина – дружно приветствовали приход Ельцина к власти в 1991 году, а затем призывали “дорогого Бориса Николаевича” в 1993 году расстреливать Верховный Совет и бурно аплодировали кровавой бойне, разыгравшейся в центре Москвы.

Те, кто помоложе, воспитывались на книгах перечисленных выше ельцинистов, пропитались их корпоративным духом и, в случае чего, как мне кажется, готовы повторить их деяния. . . Ведь не только Ельцину и его наследнику, но и их доверенным, пусть и морально, придётся нести ответ за умирание русской деревни и вымирание населения, за беспардонное обогащение клана олигархов и обнищание нашего честного трудового люда, за разлагающую молодёжь аморальность театра, кино и телевидения, за многое другое губительное, что мы видим в стране сегодня, если, конечно, за шесть лет президентского правления не произойдёт перелом, которого все ждут уже два десятилетия. Дай Бог, чтобы случился перелом! Но если всё пойдёт по худшему сценарию, то все дадут ответ, как бы они ни оправдывались.

Один будет оправдываться тем, что хотел получить от власти денег на ремонт театра, другой – средств на расширение вольера для дрессированных зверушек; модельер – выгодного заказа на пошив новых бушлатов для ВМФ, а писатель хотел сохранить место в президентском совете или издать прижизненное (мечта!) собрание своих сочинений на правительственный грант, а кто-то возьмёт высокую ноту и заявит, что, агитируя за Путина, думал, прежде всего, об успехах российской демократии.

В доме повешенного не говорят о верёвке. . . Эта аксиома настраивает меня думать мрачно и о новой волне наших либералов, так как те, кто призывал “раздавить гадину” (*иных уж нет, а те – далече*. . .), и по сей день вызывают во мне устойчивую неприязнь. Я знал их лично, работал с ними, иногда ужинал в их компании в ресторане Центрального дома литераторов (ЦДЛ) и даже бывал у некоторых дома за нещедрыми их столами.

Московские друзья давно просили меня рассказать, что я, человек иной культуры и менталитета, пережил в те “окаянные годы” в столице. Ведь мало осталось очевидцев – говорили они.

Признаюсь, сколько бы я ни садился перед чистым листом бумаги – не мог сосредоточиться. Сдерживала простая мысль: кому из “поколения интернета”, воспитанного в поклонении золотому тельцу, интересно узнать о поколении старших, трагически переживших разлом страны, и что разлом этот прочертился поначалу в сознании писателей. И как их, по природе амбициозных, самовлюблённых политических профанов, новая власть завлекла на свою сторону всякими посулами, а то и просто выгодой и материальными благами, чем они якобы были обделены в советские времена.

И вдруг, как удар гонга, волны воспоминаний двадцатилетней давности, как ни странно, пришли ко мне с Болотной площади в начале декабря 2011 года, когда послышался зов вожаков, будивших “хомячков” от долгой спячки.

С первых же строк на стержень сюжета стали нанизываться мои взаимоотношения с писателем Андреем Битовым. Наверное, потому, что среди потерь прошлых лет острее всего жалею я о разрыве с ним. И если с прозаиком Владимиром Маканиным, поэтессой Беллой Ахмадулиной, критиком Львом Аннинским, которые так же, как и Битов, гостили у меня дома в Бухаре и Ташкенте, мы ограничились приятным знакомством, то моя дружба с Битовым, начавшись в дни учёбы на Высших курсах сценаристов в Москве, длилась почти три десятилетия. И на примере этой искренней мужской дружбы хочу показать, как революционная волна, загнав нас в разные стаи, сделала в итоге если не кровными врагами, то страстными оппонентами.

В дневниковых записях 1990 года обнаружил я редкую для того времени благостную картину того, как мы в доме творчества “Дурмен” под Ташкентом работали с Битовым над сценарием о допризывнике, отвергнутом “Ленфильмом”, но из-за драматургического голода принятым в работу на “Узбекфильме”.

Чувствовалось, что московский друг ищет отдохновения в тени столетних платанов на берегу горной речки, вдали от столичных митингов, эхо которых, впрочем, докатывалось и до Узбекистана.

Зачастили в наш некогда дремотный Союз писателей “комиссары нового мышления” из Москвы (так их у нас называли в газетах), и чаще других — один из отцов-основателей общества в защиту перестройки “Апрель” Валентин Оскоцкий в компании секретаря Союза писателей Юрия Суворцева.

В. Оскоцкий, серые глаза которого всегда были неподвижны на его одутловатом лице, пафосно рассказывал нашим писателям о “необратимых тектонических сдвигах”, о “передовой части писателей”, объединившихся в “Апреле”, и призывал ташкентских коллег очнуться от азиатской дрёмы и выйти со своими произведениями на мировую арену. Особо подчёркивая статус языка коренной нации как государственного.

Пожилые писатели речи комиссаров о том, что необходимо отодвинуть русский язык в школах и вузах, слушали с вниманием. Тем более что Суворцев многих из них переводил на русский, а о некоторых даже писал монографии. Писатели моего возраста и помоложе внимали с недоумением, на их лицах было написано: да кто вы такие? И ждали, что ответу заезжим комиссарам я — “младобухарец” (так называли в начале XX века молодых бухарцев из богатых семей, учившихся в Петербурге и Стамбуле и ратовавших в Бухарском эмирате за европейское образование, казавшееся передовым. — Т. П.). Называли меня так не без доли иронии за мою страсть ездить по книжным магазинам в кишлаках, покупать книги Кафки, Ремарка, Гамсуна, Хемингуэя и заставлять читать их молодых писателей на семинарах, которые я тогда вёл. Казалось мне, что именно на стыке европейской и восточной литературы могут родиться шедевры. По моему мнению, в одночасье отказаться от русского языка значило не дать возможности идущим следом поколениям народов Средней Азии пользоваться наследием российских учёных и писателей. Кстати, в Средней Азии так сложилась вековая художественная традиция, что при ярких образцах многовековой национальной поэзии искусство прозы вплоть до начала XX века выражало себя лишь в образцах фольклора, народных легендах о подвигах реальных и мифических героев. На произведениях русских классиков местные прозаики учились жанровым законам прозы и драматургии и успешно выходили потом к читателям других народов со своими современными романами, драмами, рассказами.

Для меня не было альтернативы двуязычию, и я предлагал объявить государственными языками в Узбекистане на равных узбекский и русский.

— Все цивилизованные народы переходят на английский, — не унимался Оскоцкий. — Передовые знания изложены и пишутся на языке Дарвина, основателя учения о перерождении обезьяны в человека, а современная экономика держится на калькуляторе Рокфеллера. . .

Писатели моего возраста поддерживали мои доводы, зато нашей молодёжи английский представлялся намного привлекательнее русского.

Уже потом, во время работы в Союзе писателей СССР, роюсь в бухгалтерских документах, я обнаружил, что комиссары “Апреля” ездили с пропагандистскими заданиями к нам в Узбекистан и другие республики региона на командировочные средства, выделяемые писательской организацией.

Зачастил к нам и журналист А. Минкин, проливший немало горьких слёз по поводу Аральского моря, прямо-таки иссушенного большевиками. Слезами его можно было бы, наверно, вновь наполнить это несчастное море, но я привёл ему научные доводы: русские гидрологи, обследовавшие край ещё в 1856 году, отметили падение уровня моря в среднем на десять сантиметров в год. Этот природный процесс и привёл к тем грустным результатам, что мы имеем сейчас.

... Когда я уезжал из Дома творчества, режиссёр был недоволен. Вместе с Битовым он поторапливал меня, выступавшего в роли редактора и соавтора, ибо Андрей Георгиевич должен был уезжать то ли в Ереван, к нашему общему другу — Гранту Матевосяну, то ли к другому однокашнику — Резо Габриадзе, прославившемуся фильмом “Мимино”.

Битов, помнитесь, сделал такое признание:

— Я как писатель просто не имею права упустить редчайшую возможность, данную мне рождением: исследовать такую уникальную, невероятную страну, как Советский Союз, состоящую из такого множества республик и народов.

Наверное, Битова, как и меня, не покидало ощущение, что со страной происходит что-то неладное. По прибалтийским её краям уже прочерчивались разломы, и Битов торопился запечатлеть закат СССР.

Но когда я, вернувшись в Дом творчества, рассказывал Битову о лингвистической эквилибристике Оскоцкого, Суровцева, он лишь загадочно и нервно покусывал кончики усов. Профессионально владея словом, мы ещё не до конца понимали взрывное значение языка. Живя в стране с языковым разнообразием, мы придавали языку лишь стилистическое значение в своих романах и рассказах: яркость стиля зависела от мастерства автора, не навязывающего свой стиль и язык никому другому.

В устах заезжих комиссаров речь шла о диктате языка коренного населения в неподготовленной для этого многонациональной среде. И вскоре, когда началось переселение народов из распавшейся страны, стало ясно, что язык не только связывает, успокаивает, но и пугает, рождает химеры в умах тех, кто не знает другого языка, кроме родного, сеет вражду и раскол в обществе. “Апрелевцы” всё просчитали и знали, с чего начинать разложение страны. . .

Фильм наш с Битовым получился посредственным. Зато гонорар позволил мне целый год писать прозу, не думая о хлебе насущном. Отгородившись от “города и мира”, я перестал посещать собрания в Союзе писателей, поняв, что я как современный младобухарец безнадежно устарел и кажусь реакционным молодым писателям, обучавшимся у меня в семинаре.

Само время было ненадежно не только для обыденной жизни, но и для письма. Осмысливая в своём новом романе личность Чингисхана, оказавшего влияние на смешение родов и племён, смену династий в Средней Азии, я делал многомесячные перерывы, отвлекаясь на искушения внешнего тревожного мира: в Баку войска разгоняли митинг и прекращали силой погромы армян, в Тбилиси умирляли разгорячённую толпу; армяне бежали из Азербайджана, а их соплеменники устанавливали свою власть в Нагорном Карабахе, изгоняя оттуда азербайджанцев; в Фергане подожгли дома турок-месхетинцев, в Душанбе – бунт таджиков. . . И всё это если не оправдывается, то, во всяком случае, становится фокусом бездействия, ибо поднявшийся кровавый вихрь либералы объясняли неизбежными издержками “революционных перемен” в стране.

В один из апрельских дней 1990 года пришла телеграмма от Оскоцкого и Николая Панченко. Приглашали меня и ещё четырёх членов Среднеазиатского Пен-центра делегатами съезда всесоюзного “Апреля”, которому уже было тесно в московских одежках. Проезд в столицу и проживание обеспечивался за счёт какого-то зарубежного гранта. Заманчиво. . . Но я всё же колебался. Москва, над которой висело нервное облако смуты, не манила к себе, как прежде. . . Кроме того, не хотелось встречаться со своим антагонистом Оскоцким, к которому из-за его безапелляционности я не испытывал добрых чувств. Как и он, впрочем, ко мне. . . И всё же практицизм перевесил. Не был я в златоглавой лет пять, а в “Дружбе народов” уже два года лежал в редакционном портфеле мой роман “Плавающая Евразия”...

В Москве нас поселили в худшую даже по тем временам гостиницу “Киевская”, где в коридорах кучковались тёмные типы с видом фарцовщиков, сутенёров или наркокурьеров. Вертлявый молодой человек, своими повадками и взъерошенным видом напоминавший сегодняшнего телеведущего А. Архангельского, передал нам уставные документы “Всесоюзного Апреля” и почему-то заранее оповестил, что “министр-демократ” Николай Фёдоров без проволочек узаконит новую организацию. “Перестроечную”, – несколько раз подчеркнул он с ударением на вторую половину слова из-за шепелявого говора. Странно было слышать из уст письмоносца это уже прижившееся слово “перестройка”, которое обросло к тому времени столькими зловещами и кровавыми пометами, что самое время было спросить у самого министра Фёдорова: какой первоначальный смысл несло это слово? . .

Я сам, будучи долгое время “невъездным”, с воодушевлением воспринял новации Горбачёва. В течение 1988–1989 годов побывал в Италии, дважды – во Франции, потом в Швеции. . . Я понял, что зарубежные спонсоры требуют одного: выступлений перед разными аудиториями – неважно, учителей, педкарей, философов-интеллектуалов, – чтобы без усталости твердить об ужасах жизни в Советском Союзе, национальном унижении других народов русски-

ми, хотя русские, если оценивать трезво, больше других были унижены. Мой французский спонсор, некто Шарль Уревич, сочетающий в себе повадки молчаливого разведчика и говорливого иллюмината, едва я во время выступления уклонялся от заданной темы, тут же репликой из зала поправлял и направлял меня к теме “зверств”, совершавшихся в совдепии.

... Но вернусь к собранию, на которое нас пригласили “апрелевцы”. Пока мы добирались по малознакомой Москве к Центральному Дому литераторов, в большом зале его уже за столом президиума восседали Валентин Оскоцкий, Юрий Черниченко, Анатолий Приставкин, Григорий Бакланов – вся верхушка “Апреля”! На трибуне, возбуждаясь от собственных фраз, Панченко повторял набор “перестроечных” трафаретов, которые, похоже, лишь “апрелевцам” казались приятными на слух.

Полупустой зал привлёк лишь газетчиков с микрофонами. Мои друзья стали полущёпотом расспрашивать о сидящих в президиуме. Я называл их имена и рассказывал о заслугах перед советской литературой, невольно преувеличивая значение каждого, чтобы убедить своих “пеновцев”, что мы попали в приличную компанию.

Тут Николай Панченко заговорил о страшном “русском погромщике” Осташвили, да ещё вошёл в такой раж, что пена выступила у него в уголках губ.

– Я, прошедший Великую Отечественную войну, уничтожая фашистскую заразу, разве мог подумать, что в наши дни вновь окажусь под прицелом, но уже русского фашизма! – патетически восклицал оратор в застёгнутом на все пуговицы, несмотря на духоту в зале, чёрном плаще. Как он не был похож на того тихого интеллигента, каким я его знал раньше... – Откуда, из каких советских нор выползли такие выродки, как этот Осташвили?... Из идеологии партии, культивировавшей ненависть между народами под лозунгом дружбы народов...

Против оратору эту странную тавтологию, мы заслушались другими выступающими, которые так красочно и в деталях описывали деяния Осташвили, что мои делегаты, ничего не знающие о “русском фашисте” с грузинской фамилией, могли бы воспринять его за мифологическую фигуру.

Лишь Григорий Бакланов несколько отошёл от жанра лепки коллективного портрета фашиста и рассказал о победе журнала “Знамя” в суде с Союзом писателей, чьим органом этот журнал и был до сих пор, а теперь пустился в свободное плавание.

– Нашему примеру следуют и другие журналы, освобождаясь от диктатуры соцреализма, – возгласил Григорий Яковлевич и, обращаясь к нам, сидящим скромно в левом ряду, спросил: – Разве кто-нибудь из вас, литераторов Средней Азии, печатался до сего дня в “Знамени”? Никогда! Было ложное мнение, что вы не дотягиваете до всесоюзного уровня. Теперь “Знамя” – свободный журнал для свободных писателей!.. Присылайте свои рукописи...

В словах его был какой-то подвох, не разгаданный тогда ни мной, ни моими коллегами-среднеазиатами. Для разгадки не было времени, ибо после Бакланова к трибуне пригласили меня, записавшегося для выступления на большую аральскую тему. Пока проходил мимо президиума, глаза Оскоцкого, обращённые ко мне, напоминали иней на невымытых стёклах. Мой вечный оппонент, должен быть, ждал от меня подвоха.

С ходу оседлав своего конька, я не слезал с него, пока не сказал всё о трагедии приаральского народа, несмотря на то, что Юрий Дмитриевич Черниченко шумно дёргался, водил плечами и грыз карандаш, выплёвывая кусочки графита.

Отлично понимая, что мой рассказ выбивается из загодя расписанного сюжета, я стал расшифровывать заготовленную делегатом Кенжой рукописную таблицу смертности взрослого и детского населения Каракалпакии, начиная с 1983 года.

– Регламент! – прервал меня Черниченко.

Я скомкал тему, пробормотал что-то и, сойдя с трибуны, направился к своим азиатам. Терзающая душу трагедия Арала совсем не беспокоила коммиссаров “Апреля”. Они заранее определили роль и место писательской организации в разрушении основ государства. Что им Арал?..

До утра обсуждали мои “пенклубовцы”, как их оскорбили на конференции “Апреля”. Естественно, я ничем не мог их утешить.

С утра мои ребята отправились кто по аптекам, кто по фруктовым лавкам за апельсинами для домочадцев. Я же поехал на ул. Воровского, в Союз писателей, на заседание оргкомитета, готовившего IX съезд писателей СССР.

В большом “горьковском” кабинете, откуда потом, обвинённый во всех грехах “апрелевцами”, сбежал фронтовик, Герой Советского Союза В. В. Карпов, оставив хозяйство без руководителя, вёл оргкомитет Сергей Владимирович Михалков. Хотя фактически тон задавал оргсекретарь “марковского призыва” Сергей Колов, ежеминутно шептавший что-то Михалкову. Обсуждался проект обновлённого Устава, подготовленный юристом-консультантом Аркадием Иосифовичем Ваксбергом из “Литгазеты” и директором Института мировой литературы Феликсом Феодосьевичем Кузнецовым. Подумалось, что активисты “Апреля” и оргкомитет консервативного Союза писателей органично дополняют друг друга, как и само время, как бы соблюдающее баланс между либералами и старосоветскими писателями. Чем больше я прислушивался к мнению “апрелевцев”, тем сильнее сознавал их способность, благодаря политическому чутью, безошибочно выбирать выгодную для себя сторону в споре. Было у меня тягостное ощущение. И хотя уже намечена дата съезда – сентябрь следующего, 1991 года, – не оставляла мысль, что съезд этот не состоится...

Восстанавливаю уже по записям: “События, кажущиеся поначалу нервными и стервозными, как конфуз на конференции “Апреля” или ощущение бессмысленно проведённого времени на оргкомитете съезда, уравнивались положительным зарядом эмоций. По завершении оргкомитета идём с С. В. Михалковым через двор, мимо памятника Толстому к воротам. Сергей Владимирович прихрамывает, опирается рукой на моё плечо, расспрашивая по ходу: такой ли в Ташкенте общественный бардак, как в Москве?.. У ворот охранник пропускает вперёд чёрную “Волгу”, за рулём которой сидит Рустем – многолетний водитель Сергея Алексеевича Баруздина. Классики детской литературы обнялись, после чего Баруздин повёл меня в угловую пристройку “Дома Ростовых”, в редакцию “Дружбы народов”. Боком прошли по узкому коридору, и вот уже мы в кабинете главного редактора, где за отдельным столом трудился, как медоносная пчела, заместитель Баруздина Леонид Арамович Тер-Акопян.

Сергей Алексеевич выглядел неважно, хрипло кашлял, но при этом не отказывался от давней фронтовой привычки курить “Беломор” через мундштук. Не решаясь расспрашивать о судьбе своего романа, я прислушивался к редакционным разговорам и, кстати, узнал, что в следующем, 1991 году, тираж “Дружбы народов” предполагалось довести до трёх миллионов экземпляров. Таков был читательский интеллектуальный потенциал в СССР. Из-за колоссальных тиражей возникали проблемы с бумагой. Издательство “Известия”, где печатался журнал, срезало лимит бумаги до полутора миллионов, несмотря на успех малохудожественного, на мой взгляд, конъюнктурного романа А. Рыбакова “Дети Арбата”.

– “Евразию” твою будем печатать, – вдруг откликнулся на мой немой вопрос Баруздин и повернулся к Тер-Акопяну, который, как видно, был настроен не так оптимистично. – Пулатов так видит белый свет...

Моё авторское самолюбие вспыхнуло яркими красками: роман выйдет полуторамиллионным тиражом, чего в моей практике ещё никогда не случалось.

(В скобках скажу, что тираж “Дружбы народов” в 2011–2012 годах, наряду с журналами “Знамя”, “Новый мир”, “Октябрь”, так стремившимися к независимости от Союза писателей, составляет... 1000–1500 экземпляров, то есть упал в тысячу (!) и более раз. И это не случайно, ведь публикация эрзац-подделок под литературу отвратила самую читающую публику в мире от чтения толстых журналов).

А тогда я не особенно удивился, что после одобрения “Плавающей Евразии” Баруздин вдруг сказал:

– Звонили из “Московских новостей”, просили порекомендовать писателя из Средней Азии – обозревателем по региону. – Потом вдруг сменил тон на полухитливый: – Знаю, что после каждой повести три-четыре года слоняешься без дела, перебиваясь с хлеба на воду... Назвал тебя, но с оговоркой: Пулатов делять, строптивый, ни на какой службе не задерживается больше полугода... Так что, если надумаешь, иди в газету с готовым, острым материалом...

Помнится, что в раннее советское время “Московские новости” были обыкновенной агиткой, издающейся на разных языках, преимущественно для

библиотек зарубежных компартий. Теперь же, в позднесоветскую эпоху, с приходом в газету “прораба перестройки” Егора Владимировича Яковлева, газета превратилась в агитку-наоборот, живописующую воздушные замки перестройки для нашего замороженного обывателя. Газетные “утки”, поданные смелым и бойким пером, казались читателю выше самой правды. Отсюда и толпы, которые с раннего утра выстраивались в очереди у киосков за “Московскими новостями”. А те, кому не досталась газета, толпились у стендов на Пушкинской площади, у здания редакции, до хрипоты споря и обсуждая прочитанное.

И я, направляясь в редакцию с уже готовой статьёй, испытывал двойное чувство. С одной стороны, в случае успешного прохождения, как сейчас выражаются, кастинга у работодателя, я думал утолить своё провинциальное самолюбие, а с другой — мне хотелось узнать, как готовятся блюда на редакционной кухне самой либеральной газеты страны.

Только я вошёл в редакцию — сам Евгений Евтушенко спешит мне навстречу! С ним я познакомился в один из его приездов в Ташкент на творческий вечер. Как всегда возбуждённый, он, не останавливаясь, похлопал меня по плечу и тут же исчез за дверью приёмной главреда Егора Яковлева. Я словно попал в паноптикум фигур писателей — творцов новой реальности. Вот Алесь Адамович остановился, удивлённо всматриваясь в меня в сумраке меж коричневых стен коридора, и сел на приставной стул, шумно обсуждая что-то с публицистом Александром Ципко. В распахнутой двери одного из кабинетов я разглядел фигуру драматурга Александра Гельмана. Все были сосредоточенно заняты, буквально на коленях писали статьи, прокламации, призывы... Лишь позднее я узнал, что здесь находится интеллектуальный штаб, откуда через правительственный канал связи Е. Яковлев выходит напрямую к секретарю ЦК Александру Яковлеву и М. Горбачёву, обмениваясь мнениями о том, как ускорить “либерализацию” советского общества.

Зав. отделом Флеровскому Александру Ивановичу моя статья “Бегущие впереди арбы” пришлась по душе критикой в адрес узбекистанских партийных чиновников. Ненавязчиво поинтересовался он, имею ли я какие-нибудь правительственные регалии... Когда узнал, что я являюсь народным писателем Узбекистана, то в его глазах прочитал откровенное удовлетворение тем, что человек, обласканный властями, всё же мечтает о скорейшем крахе “прогнившей системы”.

— Очерк даём в ближайшем номере... Я тем временем напишу представление Егору Владимировичу о вашем зачислении в штат... Подберём здание для корпункта в Ташкенте, установим факс, телетайп, компьютер... — перечислял Флеровский набор оргтехники, которая в те годы была, наверное, лишь в приёмной Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Каримова И. А.

Выйдя из редакции в слегка взвинченном состоянии, я бросил взгляд на переполненную Пушкинскую площадь. Публика по-прежнему толпилась у бесконечных стендов “Московских новостей”, которые шли от поворота к Елисеевскому гастроному и до улицы Чехова, огибая редакцию журнала “Новый мир”. Многие собравшиеся здесь скорописью переносили в свои блокноты понравившиеся статьи, не имея, видимо, средств для приобретения втридорога газеты у предприимчивых кооператоров-перекупщиков, всегда успевающих туда, где пахнет выгодой. У одного из них я купил размноженный на ротапринтере труд “демона революции” Льва Давидовича Троцкого “Терроризм и коммунизм”, изданный в 1920 году и разрешённый в эти дни Гохраном СССР для массового распространения, видимо, как пособие для новых “борцов за свободу”.

Кто-то из этих “борцов”, слюнявя пальцы, подсчитывал кассу КПСС, требуя раздачи партийных денег всем беспартийным, которые входили в “нерушимый блок коммунистов и беспартийных”. А один малый, помаргивая сквозь разбитое стекло очков, требовал от радикальных депутатов межрегиональной группы Сахарова принятия закона о люстрации членов КПСС и сотрудников КГБ.

— А как же Ельцин? — настороженно спросил рыжий парень в ермолке. — Он ведь лишь недавно покинул партию... Распространяется ли на него срок давности?..

Видя, что я записываю его слова в свой блокнот, заботливый ангел-хранитель Ельцина насупился, наступая на меня:

— А ты случайно не кэзэбэшник, дядя?.. — И вдруг полуистерично замал кулаками: — Не боимся! Не боимся! Не боимся!..

Я поспешно отпрянул от этого свихнувшегося “борца” и, протискиваясь в толпе, отметил, что здесь, в основном, толпился бедный московский и подмосковный люд в прозрачных китайских дождевиках, в выцветших ветровках. И бабушки с бледными от малокровия лицами, втянутые в эту революционную ауру, бегали от одного пропагандиста из подворотни к другому, собирая всё, что им суют в руки: листовки, брошюры, прокламации, запихивая их в тряпичные хозяйственные сумки, которые подчас превращались в орудия революционной борьбы, когда их опускали на головы непонятливым оппонентам.

Сменяя, точнее, сгоняя друг друга, на постамент у ног Пушкина взбирались беззубые пожилые мужчины и женщины с загадочными лицами, с которых не сходила незлобивая улыбка — все очень похожие на пациентов психдиспансеров, и рифмовали: люстрация-кастрация, сдаём не металлолом, а золотой заём.

Как они были непохожи на до неприличия откормленных менеджеров в дублёнках и норковых шубах, кучковавшихся в наши дни на Болотной и проспекте Сахарова, отстукивая “азбуку Морзе” через *twitter* и *facebook*! Эти, на тогдашней Пушкинской, не вошедшие ещё в эпоху интернета, созывались газетой — “коллективным организатором и пропагандистом масс”, как говаривал В. И. Ленин, — “Московскими новостями”, вполне заменявшими тогда социальные сети.

Сворачивая с площади направо, я отметил, что у стенда газеты “Известия”, редакция которой располагалась в высоком тёмном здании, почти никто не останавливается. Разглядев между этажами большое электронное табло, застывшее на цифре “314”, отбивающее дни, оставшиеся до Спартакиады народов СССР, которая должна была состояться в августе 1991 года, почувствовал тревогу: в суматошное время каждый день может выкинуть что-то судьбоносное, а табло, будто не повинуюсь ходу времени, упорно отбивает дни ...314 ...313... Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, стал про себя перечислять тех, кто будет наверняка представлять Узбекистан на Спартакиаде: борец Саттаров, гимнастка Серёгина, бегунья Мамаева, боксёр Ли... Пару золотых и дюжину серебряных и бронзовых медалей возьмут...

С этими оптимистическим прогнозом я и отправился ночевать к Битову на квартиру, недалеко от Казанского вокзала.

Улетал я домой, полный противоречивых чувств. Всю сознательную жизнь избегал я всякой службы, даже в газете, как бы трудно материально не было. Но одновременно успокаивала мысль, что и в “Московских новостях” буду писать так же свободно, без внутреннего цензора, как писал прозу.

Но вскоре пришлось себя крепко ругнуть: мол, прожил на свете полвека, а остался профаном в газетном деле, хотя поработал в двух изданиях — областном и республиканском. В “Московских новостях” после очерков “Крымские татары жаждут исхода” и “Аму-Дарья — река ислама” — об афганской войне — иллюзии развеялись.

В Андижане на базаре произошёл инцидент, который бывший глава республики, председатель Совета национальностей Верховного совета СССР Р. Н. Нишанов назвал “недоразумением из-за клубники”.

Первыми, что удивительно, об этом сообщили зарубежные радиостанции, трактуя произошедшее чуть ли не как бунт местного населения против армии.

Выехал в Андижан. После знакомства со всеми обстоятельствами дела выяснилось: двое солдат из местной воинской части во время увольнительной заглянули на базар за клубникой и, не рассчитавшись с торговцем, ушли восвояси. Торговцы догнали солдат и сдали в милицию. Приехавший за ними офицер извинился за подчинённых, заплатил за клубнику и повёз провинившихся в часть. Так я и изложил инцидент в заметке “Недоразумение из-за клубники”. Позвонил Флеровский: мол, я неглубоко изучил ситуацию. “Московские новости” якобы завалены телеграммами и письмами из Андижана, где жители излагают иную версию конфликта. Цитата из письма жителя Андижана Якова Энгера, которую переслали мне по факсу из редакции: “Местное население после бандитского поведения на рынке любителей дармовой клубники вынуждено вступить в схватку со взводом, приехавшим освободить из милиции своих солдат. Затем народ собрался возле здания горкома партии, требуя вывода из города воинской части, ссылаясь на то, что солдаты ходят

пьяные по улицам мусульманского города, пристают к местным девушкам, мародёрничают...”

Милейший Флеровский ненавязчиво втолковывал мне, что нужно изложить всё происшедшее в том духе, что “армия полностью деградировала” и вместо защиты населения грабит его и насильничает...

Понимая, что “самая либеральная”, пусть пока номинально, и советская газета не может свободно осветить случившееся иначе, чем свободные зарубежные СМИ, с тяжёлым сердцем я снова отправился в Андижан. И каково же было моё удивление, когда по указанному адресу я не нашёл гражданина Якова Энгера, потому что он там не проживает, а из глинобитного одноэтажного дома навстречу мне шагнул гостеприимный хозяин – вышедший на пенсию инженер хлопкозавода Анвар Зияевич Туяков, который категорически отказался отвечать на мои вопросы, пока я не сяду с ним за дастархан и не выпью зелёного чая, спасающего от жары.

С некоторыми оговорками хозяин дома изложил “клубничный инцидент” так, как я описал его в отвергнутой газетой статье, ибо сам был свидетелем случившегося на базаре. По поводу Якова Энгера он сказал, что знал одного ювелира с такой фамилией – жителя соседней слободки, – но тот давно уехал в США. Ознакомившись с подметным письмом, огорчился и спросил:

– Как настроения в Москве? У нас всякое говорят. Если Союз разрушится, придёт такая разруха... Хлопкозавод, где работают мой сын и сноха, остановится... Россия отвернётся от нас, и некому будет продавать хлопок...

Я записал на магнитофон свидетельство очевидца базарного инцидента и его здравые рассуждения о развале страны. Хотел дать послушать Егору Яковлеву или Флеровскому, но руки так и не дошли до разоблачения фальсификаторов. Подогретый эмоциями, вернувшись в Ташкент, послал факс на имя главреда с просьбой об увольнении... Чтобы не показалось моё мнение о нравах в “Московских новостях” тех лет субъективным, приведу высказывание на телевидении писателя Александра Арцыбашева о Е. Яковлеве и его окружении:

“...Вчера вы слышали заявления по поводу освещения нашего съезда в прессе (речь идёт о клеветнической кампании в “Литературной газете”, “Московском комсомольце”, “Известиях”, на радио и телевидении, которые ещё задолго до открытия IX съезда писателей СССР 2 июня 1992 года объявили его “собранием красно-коричневых, коммуно-фашистов” и нелегитимным. – Т. П.) и о том, что в этих материалах много злобы. Я должен был от телевидения “Останкино” освещать съезд, но мне запретили это делать Егор Яковлев и его команда, сославшись на то, что я буду необъективно это делать, а их люди якобы могут “объективно”. Эту “объективность” позавчера вы лицезрели.

Как публицист я волею судьбы в течение последних полутора лет был политическим обозревателем Гостелерадио. Не в пример моим коллегам – Боровику, Познеру, Зорину, Любовцеву, Фесуненко и другим, – я не лез с микрофоном к Горбачёву, Яковлеву, Шеварднадзе и другим *застрельщикам перестройки*, чтобы лишний раз урвать на командировочные десяток долларов, сопровождая “кумиров” по заграничным поездкам. За полтора года я съездил более чем в десять командировок по России с тем, чтобы рассказать правду о том, чем живёт народ. И чтобы как-то противостоять потоку лжи, дезинформации, которая уже захлестнула экраны...

Моя позиция не осталась без внимания. С приходом на телевидение демократического руководства – друга Горбачёва Е. Яковлева и его команды: Сагалаева и других, которые жаловались, что их раньше якобы притесняли, – я был, по сути дела, выброшен на улицу, как и многие другие. Создали новую команду и всех неугодных вывели за штат. Взяли только *угодных*.

Никому не объяснили, по каким причинам кого-то не взяли. Но в коридорах мне намекнули, дескать, ты – русский. И этим всё объясняется...

Или говорили: “У вас прорусские позиции”. Какие же у меня должны быть позиции, если я русский человек?!

В то время страна и народ оказались прошлой осенью на грани голода, и это не преувеличение – ни хлеба, ни молока до сих пор нет...

Так меня лично вызвал Егор Яковлев и с пеной у рта отчитал за мои острые сельскохозяйственные репортажи. Был запрещён уже подготовленный мною “Сельский час” из Вологды. Впрочем, сегодня вообще ушла крестьян-

ская тема с экрана телевидения, но нередко из уст ретивых комментаторов льются в адрес колхозов и совхозов проклятия. И восхваление фермерства, хотя, если вникнуть серьёзно в суть этого вопроса, за всю историю советской власти, мне кажется, и в дальнейшем никогда не допустят возрождения настоящего крестьянства, потому как возрождение крестьянства – это возрождение нашей России”. (Из стенограммы IX съезда писателей СССР-МСПС. “Современный писатель”, 1992. Далее: Стенограмма.)

Электронное табло на здании “Известий”, отсчитывающее по убыванию дни до открытия праздника дружбы и спорта – Спартакиады, – остановилось 19 августа 1991 года на цифре “7”...

Наверное, для москвичей, вовлечённых в сумасшедший вихрь событий, эта роковая цифра осталась незамеченной. Мне же, приехавшему в тот день с южной окраины империи и пришедшему на Пушкинскую площадь для прогулки с внуком, “7” предвещало множество перемен и бед, хотя я был далёк от нумерологических гаданий.

Много написано об акции ГКЧП, но больше сторонними москвичами или пострадавшими, в том числе и победителями, и побеждёнными. Не встречал я только воспоминаний жителей других регионов страны, оказавшихся в эти августовские дни в столице. Впрочем, спросят, в чём разница взгляда ангажированного москвича и украинного жителя, как я, случайно втянутого в события жаркого августа 1991 года?

Почему я специально оговариваю, что не читал впечатлений немосквича от драмы августа 91-го года, желая сравнить их со своим или дополнить свой взгляд человека с окраины, хотя он и кажется поверхностным, но многое видит глубже – и в деталях...

Месяц июль выдался в Ташкенте непривычно жарким. Моего четырёхлетнего внука из-за этого замучила аллергия. Врачи посоветовали на время уехать в прохладное место. А куда поедет член Союза писателей, как не в Дом творчества в Переделкино, где для нас с внуком “готов и стол, и дом”...

С утра водили с женой внука на уколы в санаторий на улице Погодина. Затем жена просидела с ним за книжками в библиотеке Чуковского, я же ходил взад-вперёд с коллегами-писателями по дорожкам Дома творчества, разговаривая на разные темы. О взаимных переводах на национальные языки, об издательских делах и злобных московских редакторах, хотя каждый чувствовал, что бегство от тревожащих нас проблем не слишком удаётся.

В пять утра 19 августа дежурная по этажу стуком в дверь разбудила меня. В телефоне я спросонья с трудом разобрал растерянный голос дочери. Из-за разницы во времени в Ташкенте и в Москве – она услышала по телевизору о ГКЧП в восемь утра. Поняв, что началась заваруха, дочь беспокоилась о том, как мы вернёмся домой? Я пытался успокоить её, ещё не до конца понимая, что же произошло, но надеясь, что хаоса на железной дороге и в аэропортах не случится...

Кажется, все забыли о завтраке, собравшись перед телевизором в холле. Ещё вчера внешне дружелюбная в отношении друг к другу пишущая братия разделилась на группы. Одни, слушая диктора, впадали в мрачное опеченение, другие каждое слово встречали криками: “Правильно! Давно пора закончить беспредел!” И торжествуя поглядывали на тех, чья мрачность могла вылиться в истерику. Особенно радостно-эмоционален был высокий, со смуглым лицом татарского типа человек, накануне представивший мне “писателем из казацкой Кубани”, Анатолием Знаменским.

Хотя картинка на экране телевизора теперь показывала балетные па из “Лебединого озера”, никто не отправился в столовую.

На площадке перед зданием с облезшими колоннами публика разделилась на две группы по политическим предпочтениям, вполголоса обсуждая услышанное по телевизору. Возбуждён до предела, кажется, был только Знаменский. Шагая взад-вперёд, он, похоже, провоцировал мрачных и растерянных мастеров пера, выкриками: “Господа! Наша взяла! Нет, нет, мы не будем вас сажать в тюрьмы, как поступили вы с Костей Осташили, – это не в правилах православных людей. А вот вы могли бы из нас выпустить дух – всё к этому шло... Мы попросим вас вежливо: верните нам наши издательства, газеты и журналы и кончайте с вашей демократической цензурой”.

Тирада Знаменского была обращена к такому же высокому, как и он сам, круглолицему человеку, стоящему в длинной очереди у телефонной кабины.

Как потом мне рассказали, это был критик Станислав Рассадин; он после каждого выкрика Знаменского изображал презрение и поворачивался к нему спиной.

– Псих, – шептала какая-то дама в свисавших, как стреляные гильзы, к её ушам бигуди, которые она, видимо, забыла снять, увлечённая политическим противостоянием.

Чувствуя, что назревает скандал, я попытался отвести краснодарского писателя в сторону:

– Толя, не стоит дразнить гусей... Они способны на всё... Ты ведь сам вспомнил Осташвили...

– Наша взяла! – не унимался Знаменский, – я сам лично поеду в лагерь освобождать мученика, на руках доставлю его в Москву...

Выяснилось любопытное: Знаменский просидел в зале Мосгорсуда от начала процесса и до вынесения приговора цэдэловскому скандалисту. Я знал о деле, пролистав газетные подшивки в Ленинке, где всё подавалось как фашистская вылазка, а здесь я услышал рассказ очевидца, отвергающий всю брань и ложь тогдашних СМИ.

По словам Знаменского, в зале суда негде было яблоку упасть – всё заполнили журналисты с микрофонами и телекамерами, дабы оповестить мир об опасности “русского фашизма”. Официальным обвинителем выступил адвокат Андрей Макаров, а общественным – “апрелевец” Черниченко. Он поминутно вскакивал с места, кричал с пеной у рта, так что судье Муратову пришлось сделать общественнику замечание. Ни подсудимому, ни защите не разрешили до суда ознакомиться с материалами дела, а также делать заявления и подавать ходатайства. Словом, благодаря шумихе в прессе, обвинительный уклон был избран судьёй задолго до начала процесса.

...Сколько невинных душ погублено с началом нового курса Горбачёва! Прощупано самое слабое звено – межнациональные отношения. В Узбекистане на моих глазах общество раскалывали неправомерными действиями присланные из Москвы следователи Т. Гдлян и А. Иванов по так называемому “хлопковому делу”. Только семья моих соседей в Бухаре Мирзабаевых, у которых в доме, в мансарде, проживала семья евреев, бежавших в годы войны из Польши, – сапожника Шломы (смотрите мои воспоминания “Отец предлагал раввину отстреливаться” – “Наш современник”, № 2, 2012. – Т. П.), – потеряла во время гдляновских репрессий трёх человек. Старший, Гани, осуждённый якобы за махинации с хлопком на двадцать лет, так и не вернулся из лагеря. Младший, Махмуд, не выдержав издевательств во время допроса, выбросился из окна и разбился насмерть. Мать от горя скончалась через несколько дней.

Другую, не менее жестокую провокацию я наблюдал в Алма-Ате, когда без объяснения причин сняли с должности “отца казахов” Д. Кунаева, назначив вместо него варяга Колбина, совсем незнакомого с казахстанскими реалиями. Во время разгона массового митинга сторонников Кунаева были убитые и раненые, в основном, молодые люди...

Знаменский остался, пообещав мне, что не будет подтрунивать над Рассадиным, я же с трудом протиснулся в “Газель”, по графику два раза в день отправлявшуюся в Москву.

Едва машина свернула с поста ГАИ на Минское шоссе, как тут же была вытеснена на обочину колонной танков, направлявшихся в Москву.

Из открытых люков, сменяя друг друга, высывались молодые танкисты в шлемах, с любопытством разглядывая пригороды столицы и приветливо махая рукой. В облике их не было ничего воинственного, будто везли их на экскурсию по городу.

Их настрой несколько успокоил меня. На площади у Моссовета я вышел из “Газели”, оказавшись сразу в митинговой атмосфере, в которой всегда чувствовал себя неуютно. БТРы и танки стояли с повёрнутыми в сторону здания Моссовета дулами. Одни москвичи бросали на броню машин цветы, другие сотрясали воздух криками “Долой хунту!”

Сидящие на броне танкисты с интересом разглядывали москвичей и, как бы оправдываясь перед самыми разгорячёнными, объясняли: “Мы здесь по приказу”.

Среди танкистов я заметил своего растерянного земляка, протиснулся к нему и заговорил. Услышав родную речь, он обрадовался и, позабыв о воинских строгостях, бросился пожимать мне руку.

– Вы откуда? – поинтересовался я.
– Из Тулы...
– Приказ: стрелять?
– Нет... Сказали: выступайте в сторону Москвы. Приказы будут, исходя из ситуации, – объяснял земляк, подчёркивая каждое слово и прислушиваясь к сладости родной речи. Вдруг помрачнел:

– Если со мной что случится, передайте родным, что видели меня, Уткура... Бекабадский район, колхоз Энгельса, Камилловым...

На всякий случай я записал адрес земляка, пытаюсь успокоить его:

– Ничего не случится... Видишь – никакой стрельбы... А то, что кричат на вас старушки, – это так, от нечего делать. Раньше изливали душу на лавочках, теперь вот – на площадях...

В таких экстремальных ситуациях разум искажает картину происходящего. Интуиция киносценариста подсказала мне, что всё происходящее: возбуждение на улицах, дворовые мальчишки, фотографирующиеся на броне танков с солдатами, солдаты, беседующие с горожанами, – всё это скорее похоже не на войну, а на постановку батальных сцен, причём по неумело скроенному сценарию какого-то дилетанта. Вспомнилась учебная аксиома Василия Ивановича Соловьёва – руководителя мастерской Высших сценарных курсов, экранизировавшего вместе с Сергеем Бондарчуком “Войну и мир” и повторявшего при чтении ученической работы: “У тебя один эпизод, выдохнувшись на разбеге, проваливается, не догнав другой и не продолжив картину на воображаемом экране”.

Вечером того же дня мы с женой твёрдо решили возвращаться в Ташкент, откуда дочь в беспокойстве звонила несколько раз. Развязки чрезвычайного положения в Москве можно было ждать в поезде, в самолёте, дома, включив телевизор, тем более что бессюжетная драма, протекающая по законам “потока сознания”, перестала занимать меня. Важно было знать, что произойдёт после. Последствия мог оценить лишь холодный ум, создавший более профессиональный сценарий...

Но улететь сразу не удалось. В следующие два из трёх дней власти, а точнее – безвластия ГКЧП, я пробегал в поисках билетов. Все мои усилия оказались безрезультатными. Я решил добраться до редакции “Дружбы народов”, где до последнего времени состоял в редколлегии и по приезде в Москву получал ордера на гостиницу или в билетную кассу. Однако после кончины С. А. Баруздина его место занял никому не известный Руденко-Десняк, и отношение ко мне стало меняться.

Я изменил свой маршрут и добрался, наконец, до Цветного бульвара и редакции “Литературной газеты”, где я состоял в общественном совете.

Ещё издали заметил столпотворение возле приёмной редактора Ф. Бурлацкого. Среди выходящих из его кабинета озабоченных людей с газетными полосами заметил своего бывшего работодателя Егора Яковлева, а также Г. Бакланова, Ю. Черниченко, В. Коротича и других, не знакомых мне граждан. Сообразил, что редакторы и сотрудники временно закрытых газет и журналов готовят какую-то ответную акцию.

Секретарша Бурлацкого, которой я изложил свою просьбу насчёт билетов, отмахнулась:

– И не просите, Тимур Исхакович, не до билетов. Все в запарке... В 12 часов намечено производственное совещание демократических изданий, приостановленных ГКЧП. – Потом послала меня погулять по Цветному бульвару, пообещав доложить обо мне Бурлацкому.

Несколько часов прогуливался я взад и вперёд по бульвару, прислушиваясь к разговорам, шуткам и смеху военных, призванных гэкачепистами, вступая с ними в короткий диалог. Между прочим, поинтересовался, будут ли они занимать здание “Литературной газеты”, где в это время прочерчивались макеты объединённого номера либеральных газет.

Сквер жил своей повседневной жизнью. Прислонившись к ограде, бабули торговали домашними соленьями. Валютные менялы, после короткого перепуга выйдя из тени, предлагали рубли на доллары, правда, уже не по советскому курсу (доллар – шестьдесят копеек), а увеличив соотношение в сотни раз для тех, кто собирался бежать за границу.

Солдаты, пересев из танков на скамейки сквера, играли в карты, отпуская шутки в сторону фланирующих мимо девушек.

Ни разу не видел я, чтобы у кого-то проверяли документы, даже у валютных менял и граждан с вороватыми лицами, которые, распахнув полы курток, показывали дамочкам золотое кольцо или иконку, унесённую под шумок из соседней церквушки. Жизнь текла своим чередом...

Успокоенный мирным настроением людей с оружием, я направился к зданию "Литературной газеты". И почти столкнулся лицом к лицу с Егором Яковлевым и компанией, спокойно покидавшими редакцию и отъезжающими на служебных машинах. Мастера конспирологии и мифотворцы уже на следующий день говорили и писали о том, что совместный номер приостановленных ГКЧП газет они верстали и печатали в глубоком подполье, как когда-то Ильич газету "Искру".

Дверь кабинета Бурлацкого оказалась на замке. Раздосадованный, чувствуя, что стал пленником обстоятельств, спустился я к вахтёрше, которая ошарашила меня словами:

– Фёдора Михайловича уже второй день нет на работе. Исчез в неизвестном направлении и не звонит...

– А как же совещание в его кабинете?

– Вроде чужие там собрались... Сейчас все норовят проникнуть не в свои кабинеты, не в свои квартиры, – метафорично ответила вахтёрша и ударила мухобойкой по столу.

Забегая вперёд, скажу, что в том же году осенью директор издательского объединения на Цветном бульваре Головчанский признался мне, что сборное издание приостановленных ГКЧП газет под названием "Общая газета" печаталось уже 19 августа открыто и бесцензурно в типографии "Литературной газеты", так что ни о каком "подполье" не было и речи.

Один из приближённых Ельцина, небезызвестный Сергей Станкевич, писал в газете "Взгляд" от 15 августа 2011 года, что Ельцин в дни путча почти не пил и имел свободную связь с Егором Яковлевым, который просил у него интервью для "Общей газеты". Ельцин согласился. Так что и связь работала, и был свободный доступ к российскому руководству. ГКЧП не приняло никаких мер для изоляции Ельцина.

Но вернусь к своему рассказу...

Я не знал, куда направить свои стопы. Стояние у подъезда, впрочем, оказалось небесполезным. Вышел мой давний знакомый, сотрудник "Литгазеты" критик Павел Ульяшов, который и сообщил мне прелюбопытную новость о снятии совещанием выпускающих "антипутчевскую" "Общую газету" Бурлацкого с должности главного редактора. За что? Как?.. Ульяшов, который не был приглашён на совет 14-ти, не смог точно сформулировать причину такой жестокости братьев-либералов в отношении своего подельника, при котором "Литгазета" по антисоветской и антинациональной разнузданности почти ничем не отличалась от тех же "Известий", "Огонька", "Комсомольской правды", "Московских новостей"... Так в чём же причина?.. "В необъяснимом отсутствии в редакции в дни путча, когда по существу оккупированная газета осталась без главного редактора" (Чупринин С. "Новый путеводитель", "Время", М., 2009).

Дрогнул Бурлацкий, струсил, как и "отважный борец с фашизмом" Виталий Коротич, не пожелавший возвращаться из США, едва услышал о ГКЧП. Коротичу, видимо, статуя Свободы в Нью-Йорке вдруг померещилась фонарём на Гоголевском бульваре в Москве, на котором уже заготовлена для него петля... Что ж, поэту простительна вольность воображения! Но как Бурлацкий, зная своих сослуживцев по аппарату ЦК, этих бюрократов, которые мухи не обидят и способны лишь на постановочный, неумело скроенный сценарий мнимого переворота, как он мог всерьёз поверить, что солдаты, прибывшие в Москву налегке, без боекомплекта, могли бы развязать террор?

Даже Станкевич в своих воспоминаниях, сравнивая государственные перевороты со времён Цезаря и до франкистского и пиночетовского, не перестаёт удивляться бездействию ГКЧП. Грозилась изолировать ельцинистов, но те свободно перемещались с дач в городские квартиры и обратно; приостановили выпуск части газет, но не поставили у дверей типографии Головчанского часовых; а вместо соответствующего бравурного патриотического музыкального оформления момента, типа "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг...", пустили по телевизору сентиментальные танцы маленьких лебедей...

Потерявшие классовый дух кремлёвские бюрократы вспомнили бы хоть незабвенного Льва Давидовича Троцкого, чьи труды они разрешили публиковать. Ознакомились бы с такими его мыслями:

“Ни одно правительство, ведущее серьёзную войну, не позволит, чтобы на его территории существовали издания, открыто или замаскированно поддерживающее врага. Тем более в гражданской войне. Природа последней такова, что каждый из борющихся лагерей имеет в тылу своих армий значительные круги населения, стоящие на стороне врага. На войне, где успех или неудача оплачивается смертью, проникшие в тыл врага агенты подвергаются расстрелу” (Троцкий Л. “Терроризм и коммунизм”, “Азбука-классика”, М., 2010).

Недавно прочитал я письмо прокурору писателя Владимира Осипова “Как фабрикуют дела по экстремизму”, автора книги “Корень нации. Записки руссофила” (“Наш современник”, № 3, 2012), и подумал: зачем борцам с экстремизмом ради плановых показателей подводить под статью “облако в штанах”, когда свободно издаются и распространяются такие авторы, как Троцкий? Почему не запрещают процитированный выше труд Троцкого, который тянет не только на экстремизм, но и на терроризм?.. Это злонамеренные парадоксы нашего времени, корень которых – в августе 91-го.

...Мы шли с Павлом Ульяшовым к метро, и я узнал, что и он вынужден был уволиться. Почему?.. Ведь они с Лианой Полухиной, много писавшей о Белове, Распутине, Вампилове, фактически тащили на себе отдел, который, рядом с отделом национальных литератур, возглавляемым Ахияром Хакимовым, почему-то назывался не отделом русской литературы, а отделом очерка и публицистики.

– Стало невозможно работать, – проговорил с обидой Ульяшов. – Предлагаю на редколлегии творческий портрет Крупина, к примеру. Тут же вскакивает Ирина Ришина, которую у нас прозвали пресс-секретарём Евтушенко: “Да ты что, Паша, Крупин ведь православный мракобес! Ты читал его последние перлы: “До чего, хриstopродавцы, вы Россию довели?” – Это о нас-то, о демократах!..” Белов у них стал антисемитом, Бондарев – антиперестройщик, Распутин – антилиберал, русопят... Это о тех, за которыми при редакторе Чаковском мы гонялись, чтобы взять интервью, и каждую новую их вещь обсуждали с разных точек зрения. А вот о Юрии Полякове – пожалуйста, о Викторе Ерофееве – можно и на разворот... А я ведь, знаешь, из русской глубинки... не чувствую я в них близкого мне духа. Бакланову, Черниченко, Карякину можно и подвал в газете, хоть каждую неделю!.. Но какие, прости меня, они писатели?.. Пусть о них Зоя Кедрина или Юрий Суровцев пишут... Поэтому я всё больше пишу сейчас о националах: Нодаре Думбадзе, Расуле Гамзатове, Кайсыне Кулиеве или Алиме Кешокове, – у них хоть какой-то национальный дух есть. Вот и о тебе две статьи написал – твой русский ещё сильнее подчёркивает восточный колорит... А так – тяжело. Посадят теперь вместо Бурлацкого радикала – пиши пропало... Кстати, такое же настроение и у Лианы Полухиной...

Лиана Полухина спустя год после этого разговора работала в МСПС консультантом по русской литературе.

Между тем мы дошли до метро “Цветной бульвар”. Проход туда был перегорожен толпой, скандировавшей: “Долой хунту!”, “Ельцин – наш президент!” К концу дня первый испуг прошёл, и агитаторы-горлопаны, как видно, здорово здесь поработали, щедро суя митингующим свёрнутые в трубочку червонцы.

Мы попрощались с Ульяшовым и пошли в разные стороны, не пытаясь протиснуться в метро.

В Доме творчества я увидел по телевизору, как танки разворачиваются и уходят с улиц и площадей Москвы, осыпаемые букетами цветов. С любопытством всматривался в танкистов, но лица земляка не нашёл. А среди сидящих перед экраном не было Знаменского. Уже наслышанный о мстительности “апрелевцев”, я был в тревоге за судьбу своего знакомого краснодарца. И был рад увидеть бравого казака спустя несколько месяцев на заседании оргкомитета IX съезда писателей СССР, куда он был избран делегатом от Кубани...

(Продолжение следует)